

ЯСНОПОЛЯНСКАЯ ДРАМА

Осенью 1903 года некто П.И.Бирюков, близкий Толстому человек, задумывает писать биографию Льва Николаевича и обращается к нему — письменно — с рядом вопросов. Был среди них и вопрос пикантный — о любви. Будущему биографу хочется знать, кого, когда и как любил автор «Крейцеровой сонаты». Вот ответ Толстого: «О моих любях»:

Первая самая сильная была детская к Сонечке Колошиной. Потом, пожалуй, Зинаида Молостова. Любовь эта была в моем воображении. Она едва ли знала что-нибудь про это. Потом казачка в станице — описано в «Казаках». Потом светское увлечение Щербатовой-Уваровой. Тоже едва ли знала что-нибудь. Я всегда был очень робок. Потом главное, наиболее серьезное — это была Арсеньева Валерия... Я был почти женихом («Семейное счастье»), и есть целая пачка моих писем к ней.

Полон ли этот набросанный рукой правдивого старца любовный кондуит? Не полон. Нет в нем, например, Аксины Базыкиной, яснополянской крестьянки, о которой 30-летний Толстой, одурманенный страстью и запахом вянущей черемухи, пишет в дневнике: «Очень хороша... Я влюблен, как никогда в жизни. Нет другой мысли. Мучаюсь».

Быть может, просто позабыл за давностью лет о молодом своем увлечении? Э нет, такое не забывается, тем более у Толстого. Три десятилетия минуло, как расстался с Аксиной, и вдруг ожила под его пером в «конспиративной» повести «Дьявол» — веселая, ладная, в красном платке, с блестящими глазами. Соблазном и грехом веет от этой молодой босоногой женщины — чувствуется, что вдохновенный автор не может оторвать от нее завороченного взгляда... За полторы недели написана повесть — на едином дыхании! — и тут же спрятана за обивку кресла, чтобы, упаси Бог, не узрела ревнивая Софья Андреевна. Потому-то и «конспиративная».

Но есть в «любобной кондуите» еще один пробел, куда более существенный. Не упоминается еще об одной женщине — той самой, о которой Толстой писал своей двоюродной тетушке Александре Андреевне: «Я, старый беззубый дурак, влюбился». И — ей же, спустя три недели: «Я... и не знал, что можно так любить и быть таким счастливым». А в промежутке написано еще одно письмо — быть может, самое пылкое любовное письмо Льва Толстого: «...мне становится невыносимо. Три недели я каждый день говорю: нынче все скажу и уйду с той же тоской, раскаянием, страхом и счастьем в душе... Я беру с собою это письмо, чтобы отдать его вам, ежели опять мне нельзя или недостатком духа скажете вам все».

Не достало... Однако и письма не отдал. Только на третий день решился, да и то лишь потому, что младшая сестра возлюбленной, исполняя вальс, сумела взять финальную выскокую ноту. Он так и задумал: возьмет — отдам, не возьмет — унесу снова с собою.

Младшая сестра ноту взяла, и старшая (вернее, средняя, ибо была еще сестричка) получила из холодных, как лед, рук графа уже несколько пообтерпавшийся листок. «Я схватила письмо», — вспоминала она впоследствии, — и стремительно бросилась бежать вниз, в нашу общую, девичью комнату».

Будущий классик остался ждать, но мука неизвестности, слава Богу, длилась недолго: трех минут хватило избраннице, чтобы, скользнув взглядом по письму, уяснить его волшебный смысл. Тотчас обратно полетела.

«Точно на крыльях, с страшной быстротой вбежала я на лестницу, промелькнула мимо столовой, гостиной и вбежала в комнату матери. Лев Николаевич стоял, прислонившись к стене, в углу комнаты и ждал меня!»

Что чувствовал он в эту минуту? А вот что: «...быстрые-быстрые легкие шаги зазвучали по паркету, и его счастье, его жизнь, он сам — лучшее его самого себя, то, чего он искал и ждал так долго, быстро-быстро приблизились к нему. Она не шла, но как-то невидимой силой неслась к нему».

Так описывает эту сцену сам Толстой. Но почему — не «я», почему — «он», «его»? А потому что это уже не дневник, это уже не письмо и тем более не информация для дотошно-го биографа, это — роман, «Анна Каренина» называется, и действует здесь не Лев Толстой, а Константин Левин.

Автор щедро поделился с героем — и именем своим, преобразовав его в фамилию, и любовью к Истине (Истине с большой буквы), и, разумеется, биографией. Это ведь никакой не Левин объясняется с возлюбленной посредством букв — начальных букв каждого слова, которые он писал мелом, — это делает сам Толстой.

«Не было никакой вероятности, чтоб она могла понять эту сложную фразу; но он посмотрел на нее с таким видом, что жизнь его зависит от того, поймет ли она эти слова».



И возлюбленная поняла... Это ведь никакой не Левин, это опять-таки сам Толстой умудрился остаться в день венчания без рубашки: все вещи упаковали, поскольку молодые «в нынешний же вечер уезжали», а лавки не работали по случаю воскресенья. «Жениха ждали в церкви, а он, как запертый в клетке зверь, ходил по комнате, выглядывая в коридор и с ужасом» рисуя себе, что может подумать невеста.

Невеста думала вот что: «В голове моей мелькнула мысль, что он бежал».

«Мысль, что он бежал», — это не цитата из романа, это строка из воспоминаний, собственноручно написанных графиней Софьей Андреевной Толстой много лет спустя. Именно ее удивительным образом забыл упомянуть Толстой, перечисляя биографу Бирюкову женщин, которых любил в течение своей долгой жизни.

А впрочем, ничего удивительного нет: женщины — это женщины, жена — это жена. Удивительно другое. Нелепая, дикая, бредовая на первый взгляд «мысль, что он бежал», оказалась мыслью пророческой. И впрямь ведь бежал! Пусть не сейчас, пусть спустя сорок восемь лет, глубоким стариком, но бежал-таки, и бежал именно от нее. Ночью, тайком...

С чего же началось отчуждение — такая ведь любовь была. С чего и когда? На каком году семейной жизни? Или, может быть, не годами надобно измерять тут — месяцами?

Увы, даже месяц в данном случае — слишком крупная единица времени. Вот что записывает в дневнике Сонечка Берс, теперь уже графиня Толстая, как она с шутилой важностью именует себя в первом же своем письме из Ясной Поляны, записывает на пятнадцатый день после свадьбы: «...стала я сегодня вдруг

У Толстого была прекрасная память. Но подчас он забывал самое главное

чувствовать, что он и я делаемся как-то больше и больше сами по себе».

Это она стала чувствовать, женщина, а что он, мужчина? «Он был счастлив, но совсем не так, как ожидал. На каждом шагу он находил разочарование...»

Что же это за разочарование, которое «на каждом шагу» находил Левин, а заодно и создатель его, жаловавшийся в дневнике на молодую жену: «Ее характер портится с каждым днем, я узнаю в ней и Поленку и Машеньку с ворчаньем и озлобленными колокольчиками?»

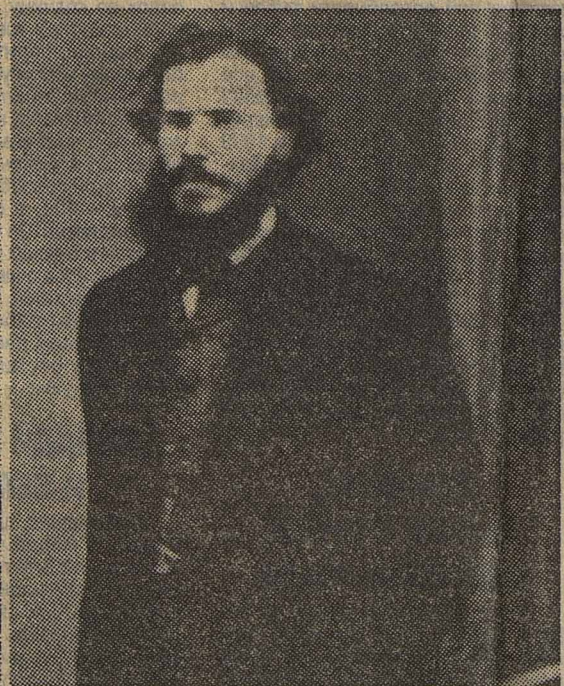
Ага, вот, стало быть, в чем дело — он узнает в ней Поленку. Он — о, ужас! — узнает в ней Машеньку... Он видит, что она такая же женщина, как все, просто женщина, и это наводит на грустные мысли. «Ужасно, страшно, бессмысленно, — вопиет он на первом же году супружеской жизни, за полтора месяца до рождения первенца, — связывать свое счастье с

составляет мою гордость» очень верит и слушает мои суждения».

Как трогательно это «почему-то!» Толстой, от взора которого не ускользало ничто, не мог не заметить в ее взгляде робкого и наивного недоумения, однако развезть его не шел нужным. Так и умерла с сознанием, что если и приложила руку к его сочинениям, то лишь в качестве переписчицы, не более того. А вот Максим Горький, который хорошо знал Софью Андреевну и не очень-то жаловал ее, так что не стал бы приписывать жене Толстого несуществующих заслуг, утверждал, что «некоторые черты в образах женщин его грандиозного романа знакомы только женщине и ею подсказаны романисту».

Но чтобы «подсказать» романисту, надо было не просто «влезть в его душу», а стать частицей этой души, его вторым «я».

Она и стала. Татьяна Кузминская,



сестра Софьи Андреевны и прототип Наташи Ростовской, вспоминает, что «по молодости ли лет своих или по своему характеру, Соня... смотрела на все глазами мужа».

И вот все это мало-помалу уходит. Вернее, уходит он — уходит в первую очередь от самого себя — себя прежнего! А следовательно, и от своего второго «я», которое угадывается за ним не в состоянии, уходит в никуда, в разреженное пространство отвлеченных идей. «...Бессмысленно связывать свое счастье с материальными условиями — жена, дети, здоровье, богатство».

Он и не связывает: все заботы по дому давно уже лежат на ней. Он свободен — почти свободен, но жадность свободы полной, а ему мешают. «По старой памяти я разбежусь с своими интересами, мыслями — о детях, о книге, о чем-нибудь — и вижу удивленный, суровый отпор, как будто он хочет сказать: «А ты еще надеешься и лезешь ко мне с своими глупостями?»

Ах, как боится стареющая женщина этого отпора — «отпора, который», — признается она, — больше всяких побоев и слов, молчаливого, безучастного, сурового и не любящего! И прибавляет в сердцах: «Он не умел любить, не привык смолчать».

Но вот уже не в сердцах, а как плод долгих и серьезных размышлений в дни его 80-летнего юбилея и усердного чтения статей о нем «на всех языках»: «Никто его не знает и не понимает; самую суть его характера и ума знаю лучше других я. Но что ни пиши, мне не поверят. Л.Н. человек огромного ума и таланта, человек с воображением и чувствительностью, чуткостью необычайными, но он человек без сердца и доброты настоящей. Доброта его принципиальная, но не непосредственная».

Мысль о неспособности Толстого любить проходит красной нитью сквозь все его дневники (да и его тоже; «Что ежели и это — желание любви, а не любовь», — записывает он, ухаживая за Сонечкой Берс), но это ни в коей мере не опровергает его давнишнего, в 27 лет сделанного признания — им заканчивается «Севастополь в мае»: «Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда».

Вот тут не желание любви, тут действительно любовь. Ради правды, как он ее понимал, ради Истины, как он ее видел, Лев Толстой готов был пожертвовать всем. Бросить все и уйти куда глаза глядят — и бросает, и уходит...

«До сих пор вижу, как он удаляется по береговой аллее, — вспоминает дочь Татьяна. — И вижу мать, сидящую под деревьями у дома. Ее лицо искажено страданием. Широко раскрытыми глазами, мрачным, безжизненным взглядом смотрит она перед собою. Она должна была родить и уже чувствовала первые схватки. Было за полночь. Мой брат Илья пришел и бережно отвел ее до постели в ее комнату. К утру родилась дочь Александра».

То был первый уход Толстого. Тогда он вернулся, но не вернулся прежние отношения. Даже в переписке рукописей — то, чем она самозабвенно занималась всю жизнь, ей отказывают... Что же касается его ухода, то об этом в Ясной Поляне говорилось постоянно, в течение многих лет, так что случившееся поздней осенью 1910 года никого из близких так уж не поразило.

Поразило другое. Пребывающая в прострации, убитая горем, несколько суток не бравшая в рот ни крошки хлеба старая женщина вдруг в мгновение ока взяла себя в руки, когда пришла телеграмма, что муж ее на станции Астапово, с температурой сорок. Дома, само собой, паника, все в растерянности, и лишь «моя мать, — не без некоторой обескураженности вспоминала впоследствии дочь Татьяна, — с лихорадочной поспешностью обо всем подумала, обо всем позаботилась. Она везла с собою все, что могло понадобиться отцу, она ничего не забыла».

Супруг не звал ее, ну и что с того, что не звал! — ее звала полувековая, ставшая инстинктом привычка заботиться и ухаживать за ним, и она, как некогда Кити, «не шла, но как-то невидимой силой неслась к нему».

«Она везла с собой все, что могло понадобиться... она ничего не забыла» — даже любимую его подушку, увидев которую, умирающий заволновался. Уж он-то знал, что тот единственный на свете человек, который мог подумать о такой мелочи.

Толстого успокоили — подушку, сказали, привезла дочь. О том, что Софья Андреевна здесь, в соседнем вагончике, не говорила ни слова. Впервые за почти полвека он болел, и болел так жестоко, а ее не было рядом.

«Всякое ухудшение здоровья Льва Николаевича вызывает во мне страдание... сильнее, — писала Софья Андреевна за семь лет до астаповской трагедии. — Так мучительно мне видеть его страждущим, слабым, гаснущим и угнетенным духом и телом! Возьмешь его голову в обе руки или его исхудавшие пальцы, поцелуешь с нежной, бережной лаской, а он посмотрит безучастно. Что-то в нем происходит? Что он думает?»

Сейчас, на смертном одре, он думал — как и всегда — об Истине. Во всяком случае, последние его слова — самые последние! — были об этом. «Я люблю истину... Очень... люблю истину».

Это правда: он больше всего на свете любил Истину.

А она, Софья Толстая, больше всего на свете любила его.

Руслан КИРЕЕВ.